

Ленин В. И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. : в 55 т. Т. 44. С. 144–152.

Ленин В. И. Новая экономическая политика и задачи политпросветов // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. : в 55 т. Т. 44. С. 155–175.

Ленин В. И. Заметки публициста // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. : в 55 т. Т. 44. С. 415–423.

Ленин В. И. Г. Я. Сокольникову. 22 и 28 февр. 1922 г. // В. И. Ленин. Полн. собр. соч. : в 55 т. М., 1975. Т. 54. С. 180.

Рассел Б. Практика и теория большевизма. М., 1991.

Суханов Н. Н. Записки о революции : в 3 т. Т. 1. М., 1991.

Фюре Ф. Прошлое одной иллюзии. М., 1998.

Шепелева В. Б. Россия 1917–1920 гг.: проблема революционно-демократической альтернативы (вопросы теории, методологии, историографии) : монография. Омск, 2009.

Шепелева В. Б. 1917-й год в контексте постнеклас-сических поисков. Вопросы теории и методологии. Saarbrücken, 2012.

Шепелева В. Б. Проблема революционно-демократической альтернативы в России 1917–1920 гг. (вопросы теории, методологии, историографии) : дис. ... докт. ист. наук. Омск, 2013.

Ярцев Б. Становление социализма и платформа меньшевиков в 20-е годы // Общ. мысль: исследования и публикации. М., 1990. Вып. 2. С. 105–124.

УДК 930.94(47).084.3/.084.6

А. С. Козлов

СОВРЕМЕННАЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ О ПОЛИТИКЕ СССР 20–30-х гг. КАК «ПРОЯВЛЕНИИ ВИЗАНТИЗМА»

Исследуются явно непродуктивные попытки тех современных западных историков, которые пытаются оценивать внутреннюю и внешнюю политику СССР (преимущественно периода социалистической реконструкции) как реализацию «византизма», восходящего к континуитету политики России от политики Византийской империи и обоснованного мыслителями типа К. Леонтьева и В. Соловьева. Показаны качественная неоднородность использования этими историками как по существу, так и по форме концепта «византизм» при характеристике указанного тематического ряда.

К л ю ч е в ы е с л о в а: англоязычная современная историография, СССР периода социалистической реконструкции, западная советология, византизм.

Актуальность темы видна хотя бы в том, что не только среди части историософствующих историков, но и склонных к ретроспективному взгляду политологов с 50-х гг. XX в. временами возникает мнение, что если не евразийство, то новый византизм станет в центр фундаментальной идеологии России. Причем те в западной исторической мысли, кто считает себя последователями А. Тойнби, все же склонны рассматривать византизм на рубеже XX–XXI вв. не только как традицию православия, но и как чувство государственной общности с Византией (см. высказывания на этот счет Т. фон Лауе, Т. Шанина, К. Кумара). При том надо сказать, что сам Тойнби настолько далеко не заходил. Он делал акцент на том аспекте византизма, который подчеркивал специфику *западной* политики России и одновременно – специфику ее модернизации в 20–30-е гг. XX в.: русские в их активном взаимодействии с Западом постоянно демонстрировали противоречивость своих реакций; ими двигало упорное желание сохранять собственную идентичность и независимость от Европы, и вместе с тем им хотелось ни в чем не отставать от нее.

Ряд современных западных специалистов (особенно англоязычных), верно уловив суть византизма (в том виде, как его преподнесли К. Леонтьев и В. Соловьев) как *православный этатизм*, четко определяет и его признаки, сложившиеся при становлении *классической* советской цивилизации (т. е. в 1920–1930-е гг.): 1) приоритет духовного делания над личным преуспеянием; 2) приоритет государства над обществом; при этом второе прямо вытекает из первого, а цели разных групп и личностей подчиняются целям государства, которое создает условия для их духовного преуспеяния. Государство тянет людей к Богу, отодвигая на второй план их материальные устремления. Подобная модель, как отмечает весьма повлиявший на определенный сектор англоязычной историографии немецкий исследователь Э. К. Суттнер, отличается от западноевропейской, которая предполагает приоритет личных и групповых интересов. В советский период, замечают такого рода изыскатели, византизм дошел до пределов своего исчерпания, однако был спасен Сталиным, который не дал «троцкистам» и «бухаринцам» реализовать свои авантюристические и в конечном итоге западнические проекты [Suttner, s. 505; ср.: Hösch, s. 392].

Нетрудно заметить, что таких зарубежных исследователей прежде всего волнует тот аспект византизма, который касается его отношений с европейской (читай – западной) системой ценностей. И здесь исторический феномен того, что ныне именуется «социалистической реконструкцией», привлекает их внимание далеко не в последнюю очередь. Правда, специальных работ на этот счет, насколько мне известно, не существует.

Зато есть несколько групп (если угодно – типов) наблюдений над тем, насколько те или иные моменты византизма пронизывали, дескать, советскую политику в 1920–1930-е гг.

Например, некоторые западные исследователи «советского менталитета» довоенного времени замечают (правда, как правило, мимоходом), что для византизма начала этого периода определяющей является мысль о том, что Россия в одиночестве была бессильна и только при определенном консенсусе с другими государствами оказалась в состоянии выполнять свою модернизацию. Некоторые авторы (правда, отнюдь не историки-эмпирики) даже посчитали, что сила Советской России в 1920–1930-е гг. (и даже в 1940-е гг.) оказалась в соборном единении (!) с другими народами (например, в 1920-е гг. – с Германией). Тем самым, оказывается, именно в России были все предпосылки для реализации идеи Соловьева о том, что «христианская семья народов не есть семья христианских народов» [см., например: Рое, р. 58]. Но политика византизма (в том числе и с сентября 1939 г.) может, согласно подобным оценкам, рассматриваться и как продолжение собирания народов бывшей Российской империи в единое целое, где национальное религиозное и все другие виды своеобразия не только сохранялись, но и формально гарантировались в законодательном порядке. Во внутренней политике византизм проявлялся в создании максимально жестких правилах развития духовной и экономической жизни каждого народа, включаемого в состав СССР, независимо от его численности и конфессиональной принадлежности [Service, р. 48–50].

Учитывая подобную специфику серьезных английских и американских исследований, касающихся проблемы проявлений имперских (= византийских) феноменов в СССР (преимущественно в 1930-х гг. и в ходе Великой Отечественной войны) (при том, что данное, аутентичное нашему российскому самоосознанию, название войны в англоязычной литературе не употребляется) и в имперском использовании ее последствий, приоритетную проблематику таких работ (выделяющихся в потоке околонучных изданий) можно разделить на несколько групп: 1) работы, продолжающие традиционную «тоталитарную» советскую тематику как один из ведущих факторов державности СССР (в том числе как проявлении византийского наследия); 2) работы, характеризующие место советских вооруженных сил в реализации этой державности (особенно во второй половине 1930-х гг.); 3) работы, посвященные анализу динамики «Восточного фронта» во Второй мировой войне, и особенно в 1941–1942 гг.

В исследованиях, появившихся с 1990-х гг., например, отчетливо видна тенденция, во многом противоположная изысканиям времен холодной

войны, не рассматривать Россию как общество и государство, генетически предрасположенные к авторитаризму византийского типа, мессианству и агрессивности (империализму), при том, что Россия не является европейской и азиатской цивилизацией в любом историко-культурном смысле. Наиболее показательны в данном ключе изыскания, выполненные М. По (Принстонский университет). В частности, в монографии 2003 г. «Российский момент в истории» он пишет, что уже XVIII в. показал: «Русская элита создала первое жизнеспособное общество, способное к сопротивлению вызовам Европы» [Рое, р. 58]. Даже при Сталине, по его мнению, elite or ruling class в своих интересах сотрудничал с авторитарной властью, оказавшейся способной завершить к началу мировой войны оптимальную модернизацию, при том, что русские сохраняли «веру» в уместность подобной власти, особенно перед лицом европейских угроз. Конечно, подобные модели поведения разрушились при Горбачеве, но в 1941–1945 гг. они продемонстрировали высокую эффективность. К подобным суждениям склонен и Уолтер Мосс (Мичиганский университет), подчеркивающий, что коммунистическое правление (и это показала война 1941–1945 гг.) в большей степени было успехом российской цивилизации нежели шагом назад (при том, что тогда имела место и жестокость власти, и репрессии). Даже во время войны авторитарно-имперские структуры обеспечивали минимумом необходимого миллионы советских граждан, а после войны — миллионы своих последователей в третьем мире [Moss, р. 283–284].

Один из популярнейших сюжетов англоязычной русистике последних лет — место национального вопроса в истории России, в том числе в 1930–1940-е гг. Актуальность темы, естественно, была обострена феноменом распада СССР. Применительно к проблематике истории социалистической реконструкции и Великой Отечественной войне изыскания в данной области исходили из давно утвердившегося в англо-американской историографии взгляда на поощряемость «российского» национализма государством, *начиная со Сталина* (что само по себе является крайне спорным), причем в свете последних историко-антропологических изысканий такая оценка обретает яркий традиционалистский заряд. Ссылки на «византизм» политики СССР в рамках национального вопроса в таких работах почти иссякают. Значительная часть серьезных исследователей национализма в СССР пишут об огромной инерции царского и советского прошлого в данном вопросе, и это, по их мнению, сделало построение российской нации крайне трудным делом в послеперестроечной Российской Федерации. Обращая внимание на такого рода инерцию в период 1930-х, и особенно 1939–1945 гг., один из наиболее авторитетных совре-

менных специалистов по данной проблеме, Роберт Сервис (Гарвардский университет), в книге «Россия: эксперимент над народом» (2003 г.) основное внимание уделяет характеру глубокой взаимосвязи авторитарного имперского государства (без ссылок на византийскую традицию) и national consciousness. Один из его выводов: если до войны успехи большевиков в конструировании нового национального сознания на базе пролетарского интернационализма (изменение флагов, гимнов, названий городов, тоталитарная пропаганда и образование) были весьма скромны, то Сталин в кратчайшие сроки, особенно в 1941–1945 гг. эту задачу практически решил [Service; ср.: Martin, p. 402–410].

Что касается раскрытия традиционной для советологической историографии проблемы характера российского тоталитаризма, то в рассматриваемом нами тематическом и хронологическом срезе она как никакая другая демонстрирует использование исследователями междисциплинарных подходов, мобилизуя синтез методик истории, социологии и политологии. «Византизм» в таких работах как черта советской политической и идейной жизни сужается до уровня метафоры. В современных англоязычных изысканиях такого рода констатация развития СССР в рамках тоталитарной модели сопровождается многочисленными оговорками, почти немислимыми в исследованиях 1960 – начала 1980-х гг. Например, в значительной части фундаментальных работ отмечается системная прочность СССР (исход войны тому ярчайший показатель). Фатальной обреченности у такого общества не было, по крайней мере на основе его внутренних закономерностей развития. Известный сторонник междисциплинарности при изучении последних В. Шляпентох (Мичиганский университет) в своей знаменитой книге «Обыкновенное тоталитарное общество» (2001) категорически не соглашается с большинством советологов последней четверти XX в., утверждавших, что в условиях большевистской державности (и даже во время войны) «высокая политика» пусть слабо, но отражала противоречия между региональными партийными группами. По его мнению, партийные секретари на местах (война это показала наглядно) почти всегда защищали интересы центра, а областные и республиканские нужды подчеркивали только в случаях крупных перебоев с продуктами первой необходимости, так как это могло породить социальные брожения. Шляпентох видит только один фактор проявления «регионального фактора» во время войны и в послевоенные годы: когда бывшие местные секретари партийных комитетов переводились в Москву, то они стремились укомплектовать там свои офисы своими же земляками.

Примечательно, что при попытках охарактеризовать взаимосвязь партийно-государственного руководства СССР и рядового населения, значительная часть англоязычных историков по проблемам предвоенного периода в той или иной форме пишут о двойных стандартах поведения советской элиты по отношению к гражданам. Тот же В. Шляпентох, а также Э. Шираев, У. Лакмэн и ряд других отмечают публичное, базирующееся на идеологии, восхвалении «народных масс» со стороны *soviet leaders*, – панегирики, которые противоречили «зашифрованному» в ментальном подсознании этих лидеров иному имиджу рядовых граждан как «склонных к лени, пьянству, воровству и предательству». Этот имидж, совершенно не присущий «византийской традиции», рождал у лидеров страх перед массами, в котором таилась одна из причин развития *the political police* с ее гигантской сетью информаторов. Отсюда же весьма своеобразное место вооруженных сил в советской системе. Так, по мнению Шляпентоха, «*In the military, the masses were readily compelled to accept authority*» [Shlapentokh, p. 32–33]. Что же касается системной взаимозависимости пенитенциарной сферы или затрат человеческих ресурсов советской державой в 1939–1945 гг. с уровнем тогдашней жизни, то, по мнению Шляпентоха, доминировал следующий вектор: «Большевики рассматривали людей как расходный материал и никогда всерьез не интересовались числом жизней, которыми жертвовали ради достижения своих целей <...> Большевизм в разных формах демонстрировал пренебрежение рядовыми гражданами – при голоде миллионы во время коллективизации, гибель неопределенного числа военнослужащих во время гражданской войны и Второй мировой, жестокого пренебрежения 5,7 млн заключенных в немецких концлагерях...» [Об. cit., p. 34].

В последние полтора десятилетия специалисты Англии, США и Канады, обращающиеся к истории Вооруженных сил России и СССР, с одной стороны, имеют тенденцию рассматривать их развитие в широких временных рамках, во-вторых, стараются использовать структурно-модельную методiku в анализе их функционирования в экстремальных ситуациях. Характерно, что значительной части серьезных историков, занимающихся подобными сюжетами сталинского времени характерно: а) подчеркивание преемственности построения и применения Красной Армии в связи с опытом вооруженных сил дооктябрьской России; б) стремление увидеть связь державной сущности Красной Армии с державным менталитетом гражданского населения СССР (отсюда – подчеркивание известной справедливости советского понятия «народная армия»); в) внимание к тому обстоятельству, что теснейшая взаимосвязь Красной Армии

с гражданскими структурами накануне и во время мировой войны исключала высокий уровень корпоративности офицерского состава армии и возможности военного переворота. Последний сюжет особенно рельефен в монографии (2003) кембриджского профессора Б. Тейлора (об истории взаимосвязи армии и гражданских структур России 1689–2000 гг.). Византийскую традицию в построении Красной Армии ученый отрицает полностью, исходя из моделей «возможностей» и «стимулов», достаточно традиционных для России [Taylor, p. 37]. Тейлор приводит массу аргументов для вывода о невозможности в СССР кануна и времен Великой войны чего-либо подобного заговору военных 1944 г. в Германии. Сильное имперское государство Сталина предполагало «внутреннюю и организационно оптимальную взаимопомощь структур, обуславливающих единый облик чиновников, военных и гражданских, одинаковые стереотипы их поведения, включая стимулы к консолидации в 1939–1945 гг.» [Об. cit., p. 29]. Во многом по этим же причинам в послесталинское время, считает Тейлор, военные в СССР–России не были угрозой демократизации. В России, в отличие от Византии и восточных держав, военные крайне редко втягивались в политику (в период Гражданской войны и при распаде СССР, намного в меньшей степени – во время Второй мировой), но, во-первых, в политику их втягивало гражданское руководство страны, во-вторых, специфическая идеологизированность армии предполагала дистанцированность ее офицерского корпуса от власти (доходящая до брезгливости). Данную мысль Тейлора разделяет Дейл Харспринг (Канзасский университет), полагающий, что даже конфликт Г. К. Жукова с Н. С. Хрущевым был прежде всего личным, а поведение верхушки военных в октябре 1993 г. обуславливалось, во-первых, традиционной дисциплиной, во-вторых, осознанием того, что перевод стрелок часов назад грозил гражданской войной [Herspring, 1996, p. 68–69; ср.: Herspring, 1998, p. 25].

Несколько иная ситуация (применительно к улавливанию традиций «византизма») может наблюдаться в некоторых работах, посвященных внешней политике СССР 1920–1930-х гг. Ряд исследователей (Л. Пеано, Э. Мюллер, А. Брюкнер) замечают, что слабостью оценок расширения зоны советского влияния во второй половине 1930-х гг., но особенно в 1944–1945 гг. в свете «традиций византизма» в сталинской политике является тот факт, что установление тесных контактов со странами бывшей византийской Ойкумены вело внешнюю политику к сдвигам к *периферийным* направлениям. Однако формы контактов СССР с Грецией, Сербией, Эфиопией, Кипром, Болгарией и другими субъектами «Византийского содружества» (термин Д. Оболенского (Великобритания)) зависели от конкретной международной обстановки (во многом исходя из отноше-

ний с союзниками, а не из генетических традиций «восточного вопроса») и определялись конкретно в каждом отдельном случае [Weeks, p. 79].

Отдельно отмечается, что к особой группе стран бывшего «византийского содружества» относились на заключительном этапе войны Кипр, Эфиопия и Македония. Единственное, что отличало их от стран типа Болгарии, – это неготовность (в том числе и на сегодняшний день) к той степени сближения и даже интеграции с Россией, что отличало Белоруссию, Армению и Сербию. В силу ее особого места, полагают подобные наблюдатели, должна быть отдельно рассмотрена Греция. Интегрированная довольно основательно в западные структуры еще до октября 1940 г., Греция в период войны оставалась зоной влияния не «византийско-имперских вызовов России», а Британской империи, но сейчас оказывается «ахиллесовой пятой» в системе НАТО и более того, в случае определенного развития событий может стать «пятой колонной» в НАТО, каковой и является по своей потенциальной настроенности уже сегодня [Moss, p. 121]. Спорное, но актуальное наблюдение.

В духе «импрессионистского налета», долго доминировавшего в американской историографии, по замечанию Р. К. Рэека, давались (и иногда даются до сих пор (см. работы сторонников «генерализационного направления») в исторических исследованиях 1960-х гг.) странные оценки соотношению византизма и патриотизма в 1930-е гг. и в войне 1941–1945 гг. [Raack, p. 215]. Такого рода «открытия» могут коррелироваться с некоторыми наблюдениями над развитием идеологии. Отличие византизма от всех европейских идеологий предвоенного и военного времени, по мнению В. Шлапентоха, например, состоит в том, что византизм находился (и находится) по ту сторону нигилизма. В отличие и от коммунизма Маркса, и от «демократии» ценностные установки сталинского византизма имели абсолютный характер, поскольку принцип *тотального* низвержения одних ценностей для утверждения других ценностей был ему совершенно чужд. Отсюда и феномен сталинского патриотизма 1930 – начала 1950-х гг. Для этого византизма определяющим являлась позитивная установка по отношению ко всем «формациям» [Shlapentokh, p. 32–33].

Историософия предоставляет безграничное поле для таких суждений. Так, византизм Сталина, по мнению У. Мосса, будучи идеологией православного религиозного мировосприятия и продуктом последнего, вместе с тем не был «воцерковлен» в смысле отождествления себя в полной мере с идеологией псевдорелигиозного типа (каковой являлся сталинский коммунизм), а являлся идеологией государственного строительства, призванного обеспечить единство абсолютного и относительного – государствен-

ного созидания и стремления к Абсолюту (в том числе и в достижении Победы до полной и безоговорочной капитуляции врага), иначе говоря, к полному решению поставленных государством задач [Moss, p. 283–284].

Стройной системы в использовании леонтьевского или соловьевского подхода к византизму в современных англоязычных исследованиях нет, как нет и специальных работ по проверке актуализации применения этого феномена к истории советского периода в целом и истории СССР периода социалистической реконструкции в частности. Глубокие и серьезные исследователи, имеющие дело с эмпирикой источников, предпочитают не делать обобщений, связанных с проецированием православного этатизма на СССР сталинского времени. Апелляции к византизму советского общества и векторов внешней политики СССР в период 1920–1930-х гг. и Великой Отечественной войны в крупных и значимых работах западных авторов носят исключительно выборочный характер, граничащий с публицистичностью. Труды, где подобные приемы являются правилом, хотя и входят в фонд историографии, посвященной драме 1930–1940-х гг., но не являются основополагающими для углубления знаний об этом периоде, а скорее служат данью инерции некоторых направлений советологии 1950–1960 гг., имеющих слабое отношение к вдумчивой исторической науке.

Herspring D. Russian Civil-Military Relations; Past and Present. Princeton, 1996.

Herspring D. The Soviet High Command 1964–1989: Politics and Personalities. Princeton, 1998.

Hösch E. Geschichte Russlands: vom Kiever Reich bis zum Zerfall des Sowjetimperiums. Stuttgart, Berlin, Köln, 1996.

Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca, N. Y., 2001.

Moss W. A History of Russia: Since 1855 (Anthem Series on Russian, East European and Eurasian Studies) // Anthem. 2005. Vol. 2.

Poe M. T. The Russian Moment in World History. Princeton, 2003. P. 136.

Raack R. C. Stalin's Drive to the West, 1938–1945: The Origins of the Cold War. Stanford (Cal.), 1995.

Service R. Russia: Experiment with a People. Cambridge, 2003.

Shlapentokh V. A. Normal Totalitarian Society: How the Soviet Union Functioned and How It Collapsed. Armonk, N. Y., 2001.

Suttner E. C. Kirche und Nationen. Beiträge zur Frage nach dem Verhältnis der Kirche zu den Völkern und der Völker zur Religion (Das östliche Christentum, 46). Hbd. 2. Würzburg, 1997.

Taylor B. D. Politics and the Russian Army: Civil-Military Relations, 168–2000. N. Y., 2003.

Weeks A. L. Stalin's Other War: Soviet Grand Strategy, 1939–1941. Lanham, 2002.